

Нина Орлова-Маркграф

Родилась на Алтае в селе Андронове. Окончила Камышинское медицинское училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи и рассказы печатались в литературных журналах «Аврора», «Москва», «Наш современник», «Отчий край», «Симбирск» и др. Автор трех стихотворных книг: «Царь-сердце», «Утешение», «Птицы-летицы». Лауреат премии имени святого благоверного князя Александра Невского.



НЕОСТАНОВИМОЕ ДЫХАНИЕ

Или я знал тебя?

Иван Жданов

Меня потащил слушать стихи Ивана Жданова и знакомиться Саша Ерёменко, только что с ним познакомившийся. Сейчас вспомнила, что тогда Ерёменко носил прозвище Саша Белый, эта первая студенческая кличка скоро отпадет, как упадут на пол парикмахерской его крашенные в белый цвет вихры. Москва. Зима. Середина семидесятых. Мы бежим в сумерках по морозцу от метро к какой-то квартире в дальнем районе, тогда мы часто собирались на хатах. Хозяйка впустила нас. «Раздевайтесь», — указала на пол. Мы бросили одежду поверх расхристанной горы из пальто, полушубков, шапок, у подножия этой одежной горы в стороне лежала рукавица. «Большая и одинокая», — прокомментировал Ерёменко, поднимая ее. Про рукавицу, конечно, не вспомнила бы, это я вычитала из своей старой записной книжки. Мое неподдельное удивление: как одиноко лежала эта варежка!

Мы прошли в гостиную. Диван, все стулья заняты, присели на пол, замыкая собой амфитеатр. Вечер начался.

Ты — сцена и актер в пустующем театре.

Ты занавес сорвёшь, разыгрывая быт,
и пьяная тоска, горящая, как натрий,
в крошечной темноте по залу пролетит.

Тряпичные сады задушены плодами,
когда твою гортань перегибает речь,
и жестяной погром тебя возносит в драме
высвечивать углы, разбойничать и жечь.

Но утлые гробы незаселённых кресел
не дрогнут, не вздохнут, не хрястнут пополам,
не двинутся туда, где ты опять развесил
краплёный кавардак, побитый молью хлам.

И вот уже партер перерастает в гору,
подножием своим полсцены охватив,
и, с этой немотой поддерживая ссору,
свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф...

Я смотрела на читающего поэта снизу вверх, как на памятник, — высокий, молодой, красивый, прямо Маяковский, только не столь эстрадный, без громогласности, и глаза не поддевали публику, не пронзали ее. Они смотрели поверх, вдаль, и все же каждому внимающему стихи «был послан взгляд» — есть такая строка у Жданова. Через десять, а то и больше лет, составляя рукопись стихов для издательства «Современник», он решит так назвать первую книгу. Но не дали. Предложили «Портрет». А по-моему, очень важная строка. Очень значимое название.

Был послан взгляд — и дерево застыло,
пчела внутри себя перелетела
через цветок, и, падая в себя,
вдруг хрустнул камень под ногой и смолк...

Но до этой первой книги еще целая жизнь, мы еще живем в застое, о перестройке слыхом не слыхивали. Безмятежно сидим с Ерёменко на полу, слушаем стихи. Иван Жданов читает стремительно длиннострокие, сложные строфы, метафоры накатывают вал за валом — и ни одной остановки, запинки, даже маленькой паузы. Неостановимое дыхание. Он помнит каждое слово. Я, юная студентка, сразу почувствовала, как тут было много труда над первоначально рожденным слепком слов, эти стихи доведены до совершенства громадной работой. «...свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф» — строка не отвлеченная, а привлеченная понять образ мастера. Слушая стихи, я успевала воспринять лишь верхний слой, услышать музыку виртуозно сцепленных между собою звуков, мне виделся вращающийся точильный круг (такой у моего отца в деревне был), от которого летят искры, мелкие дети огромного скрытого огня.

Вода в глазах не тонет — признак грусти.
Глаза в лице не тонут — признак страха.
Лицо в толпе не тонет — признак боли.

Боль, как пещера, вырыта в тумане —
в газообразном зеркале летейском,
топлящемся в преддверии страданья.

О, если б кто-нибудь в пещеру эту
своим лицом вошёл, он бы услышал...

Лицо в толпе не тонет и уходит.
Ему бы оглянуться, но в тумане
лишь взмахи вёсел, плеск и скрип уключин.

Я приехала в Москву необразованной провинциалкой, дикаркой, я плохо знала поэзию. Пушкин, Лермонтов — вот мое всё. В Литературном институте, а это был уже второй курс, сыпались на меня серебряным дождем имена: Цветаева, Пастернак, Гумилёв, Мандельштам... Я упивалась их стихами.

Пушкин с Лермонтовым нервно курили в сторонке. Но тут передо мной был новый неопознанный поэтический мир. Впечатление было сильным. Серебряный век нервно курил в сторонке.

— Ну как, Нина? — спросил меня Ерёменко, когда Жданов закончил читать.

— Это какой-то многоэтажный Тютчев!

Я запомнила ответ, потому что уж очень рассмешила им моего товарища.

— А как тебе?

Ерёменко стал что-то говорить про выход в иное измерение, миры или вообще куда-то за грань...

Я была согласна с ним. Но при этом сколько же в стихах Жданова было родного, изнутри точного, алтайская земля растила образы, алтайский воздух дышал между строк.

Вчера туман с верёвок бельевых
сносил кругами граммофонной лени
твой березняк на ножницы портних.

Или вот тут:

Храпя, и радуясь, и воздух вороша,
душа коня, как искра, пролетела,
как будто в поисках утраченного тела
бросаясь молнией на выступ шалаша.
Была гроза. И, сидя в шалаше,
мы видели: светясь и лиловея,
катился луг за шиворот по шее ...

В тот день после знакомства со стихами состоялось и мое личное знакомство с тобой, Ваня Жданов, ныне известный (гениальный, говорят) поэт Иван Фёдорович Жданов. Я думаю, гениальным ты был даже в раннем детстве, когда сидел на полу избы на стеженном одеялке и видел и слышал божий гром в погремушке. Не оттуда ли:

А там, за окном, комнатёнка худая,
и маковым громом на тронном полу
играет младенец, и бездна седая
сухими кустами томится в углу.

И мак погремушкой ударит по раме
и камешком чиркнет, и вспыхнет она,
и гладь фотоснимка сырыми пластами,
как жёлтое поле, развалит до дна.

Впервые читая эти строки, я видела нашу деревенскую избу, зыбку моего братца, подвешенную к матице, широкие доски некрашенного пола, сумерки, гроза и такие удары грома, словно небо и земля ударились друг о друга, и все сотрясалось, и била молния в окна, и стонали кресты окон. Внешнего текста было достаточно, а то, что за ним, можно разгадывать всю жизнь. Стихи отточены, невероятно техничны, но они теплые, живые.

Я поймал больную птицу,
но боюсь ее лечить.
Что-то к смерти в ней стремится,
что-то рвёт живую нить.
Опускает в сердце крылья,
между рёбер шелестит,
надрываясь от бессилья,
под ладонью верещит...

Привыкание, можно сказать, примыкание к человеку и поэту Ивану Жданову у меня произошло мгновенно. Много значило, что он свой, тоже алтайский, а я очень привязана к своей малой родине. (Алтай — это для меня всю жизнь как пароль, как ключевое слово.) И тоже деревенский. В первом внешнем общении — простодушный, простоватый Ванька, я среди таких выросла. Временами — какая-то детскость, покинутость, незащитность, ранимость, этим он напоминал мне моего младшего брата. Все это исчезало, лишь когда начинались философско-литературные беседы, споры о поэзии. Тут он был тверд и уверен.

И видно было, что годами он старше нас, мудрее, ближе к другому поколению, сразу послевоенному. Это и в лице всегда было узнаваемо: дитя первых послевоенных лет. У Юрия Кузнецова есть такая строка в стихотворении «Отец»: «взгляни на мать — она сплошной рубец./Такая рана — видит даже ветер!» Вот Иван мне таким казался. Такой раной. И тема страдания — во всех проявлениях, — по-моему, одна из основных в его стихах.

Попробуй мне сказать, что я фантом
и чья-то часть, болящая при этом,
а если нет, то чем же болен я?

Что заставляет незнакомым ртом
меня вопить и вздрагивать скелетом
под тяжестью чужого бытия?

Мне кажется, что плоть моя — часы
чужой души, затерянной в страданье,
глядящей на себя со стороны, —
и торг идёт, и кренятся весы,
и псы ворчат от моего дыханья,
и некуда бежать, как от вины.

Через несколько дней после знакомства я уже читала в своей общежитской комнате стихи Ивана Жданова с листа — аккуратно отпечатанными на машинке. Было ощущение: это стихи из будущего. Я тогда написала у себя в записной книжке: «Образы, как миры, несутся на скорости, сталкиваются, взрываются». В стихах было то, что я тогда не знала, как определить, не находила слова. Теперь есть более-менее соответствующее слово: в стихах Ивана Жданова семидесятых-восьмидесятых годов двадцатого века было много виртуального.

Сложившийся круг друзей-поэтов и нескольких прозаиков, в который я входила в эти годы, был прекрасен. Эти ребята задали общению невероятно высокую планку. Яркие, талантливые, остроумные, артистичные. Мы все считали себя незаурядными поэтами, но искренне, без тени ревности, любили стихи своих друзей, порой больше, чем свои. Читали и слушали по многу раз, знали наизусть. Если кто-то из поэтов при чтении по кругу

забывал строку, несколько человек сразу подсказывали. Ни у кого из нас тогда не было болезненного пестования собственного «я», любоначалия, гордыни поэтской, был поиск единомышленников, была веселая жажда встреч. Владимир Данчук, Александр Ерёмenko, Александр Чернов, Наталья Лясковская, Ольга Страшникова, Эргали Гер, Алексей Парщиков и его жена, обаятельнейшая, влюбленная в искусство Ольга Свиблова. Мне захотелось назвать их, тем более что Иван Жданов тоже их всех знает. А Ерёмenko и Парщиков впоследствии во всех статьях о метафорической поэзии будут стоять со Ждановым, отделенные друг от друга лишь махонькими запятыми. Молодой преподаватель Литинститута Константин Кедров, поэт и философ, очень их поддерживал, ценил как выдающееся явление и позднее объединил их в поэтическое трио, обобщенно назвав метаметафористами. Об этом распространяться не буду, об этом только ленивый не знает.

Но пока что никто из нас и думать не думал о чем-то большем, чем чтение стихов по кругу на хате. Давали друг другу почитать стихи в рукописи (от руки написанные) или в лучшем случае отпечатанными на машинке. Мы все были студентами Лита, кроме Ивана. Кто-то жил в общежитии, кто-то работал дворником или кочегаром и имел временное жилье. А Иван «бичевал». Иван в эти годы — вечно бездомный, вечно скиталец. Мне кажется, это длилось десять, даже больше лет. Все беседы, все встречи примерно с 1975 по 1985 мне видятся, слышатся, представляются сейчас через его бездомность. В общежитии Литинститута студентов селили по двое. Две кровати, два стола и шкаф составляли мебель комнаты. Моей соседкой была Ольга Страшникова. И вот Ивану негде ночевать. Мы оставляем его у себя. Он лежит, как князь, растянувшись на брошенном на пол матрасе, укрытый шерстяным одеялом без пододеяльника. Мы с Ольгой читаем по стихотворению. Потом Иван читает свои стихи. Будто из колодца, снизу доносится голос. Память может и изменять, но прямо слышу эти стихи:

Ты можешь быть русой и вечной,
когда перед зеркалом вдруг
ты вскрикнешь от боли сердечной
и выронишь гребень из рук.

Так в сумерки смотрят на ветви,
в неясное их колдовство,
чтоб кожей почувствовать ветер,
прохладную кожу его.

Так голые смотрят деревья
на листья, упавшие в пруд.
Туда их, наверно, поверья
листвы отшумевшей зовут.
И гребень, и зеркало рядом,
и рядом деревья и пруд,
и, что-то скрывая за взглядом,
глаза твои тайной живут.

Вдруг Иван прерывает чтение. Умолкает.

— Ну, дальше не буду читать. Оно длинное. Вам, наверное, надоело.

— Читай, Ваня. Башляй за ночлег.

Дружно смеемся.

Он продолжает:

Ты падаешь в зеркало, в чистый,
в его неразгаданный лоск.
На дне его ил серебристый,
как лёд размягченный, как воск.
Искрящийся ветер, перешитый,
навек перестроенный в храм.
И вечный покой Афродиты
незримо присутствует там.
Улыбка её и смущенье
твоё озаряют лицо,
и светится там, в отдаленье,
с дрожащего пальца кольцо.
Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
чужая в столь зыбком краю.
И красное марево жеста
окутает руку твою.

После этого стихотворения заходит у нас речь о женской красоте. Мы с Олей расхваливаем студентку красавицу Машу Чекину, просто захлебываемся эпитетами. Вздыхаем, что обе сами не имеем столь очевидных признаков красоты.

— Да что вы раскудахтались-то? Что расквохтались? — горячо возмущается с матраца Иван. — Вы вон какие красивые девки. Вас бы только приодеть, приобрести чуток!

Мы так хохотали, что соседка постучала и потребовала прекратить это «безобразие смеха». Не знаю, помнишь ли ты, Иван, это заступничество за нашу красоту? А мы с Олей и сейчас помним.

Скитальчество. Уже проступало оно во всем облике, даже в том, как он уходил, бывало, теперь уже с улицы Долгова в Тушино, где жили мы с мужем, «шерифом» — так мы называли шутя моего мужа Валерия Орлова, юриста от Бога и страстного любителя поэзии. Что мы тогда могли предложить ночующему? Постелью Ивану служили составленные стулья (поверх — вдвое сложенное одеяло), или проваленный диван на кухне, или узкий топчан на даче. Неприхотливы мы были все. После ужина начинались стихи и разговоры, вечерние, ночные.

Мне нравилось, что всякий раз среди прочего Иван читал одно четверостишие, видимо, оно ему самому очень нравилось. Первые две строки теперь уже не помню и не нашла в книжке, а вторые запомнила:

И тень от клёна на стене
Раздвинет комнату мою.

Каждый раз он прочитывает их с особой интонацией, и каждый раз до меня доходит новый, только что рожденный смысл этих, на первый взгляд, простых строк. Тень клена — это как свет? Свет раздвигает пространство? Тень — это кружево, кажется, что за ним еще и еще есть место, тень раздвигает стены и выводит в какое-то иное измерение? Мне нравится гадать. Это как когда вечером в детстве долго глядишь на узоры ковра, и каких только фигур не встретишь там. Вдруг Иван делается открытым, откровенным, рассказывает о себе, о своей семье. Однажды он прямо потряс, сказав, что он одиннадцатый ребенок в семье.

Ничего себе последыш! Под два метра! И был Иваном вторым, назван именем своего старшего брата, погибшего на Великой Отечественной войне. Иван написал об этом в стихах, но это позже, гораздо позже. Стихотворение называется «Гора».

Гора над моей деревней: возле неё погреться
память не прочь, как будто это коровий бок.
С вершины этой горы видно другое детство
или, верней, преддетство, замысел между строк.

А это была война. Подколенное мясо ядом
перло, жуя страну, множилось, как число.
Одно из моих имён похоронено под Ленинградом,
чтобы оно во мне выжило и проросло.

Значит, и эта гора, честной землёй объята,
уходит в глубины земли, ищет потерянный дом.
И, как битва, сверкает на ней роса под рукою брата,
роса молодой травы, беспечный зелёный гром...

Вообще, ты, Иван, всегда вспоминаешься мне в крепкой связи с какой-нибудь местностью, я бы сказала образом места. В Тушине, например, на канале имени Москвы, где шлюзы. Вот стоим на мосту втроем: я, Валерий и ты, смотрим вниз на воду. Вода напористо шипит, потом начинает бушевать, гудеть. Кипит, сминается, как тонкая сигаретная бумага. Но набушевавшись, потихоньку утихает, становится высокой, полной, как в половодье. Створы ворот медленно открываются, и баржи, суда, стоящие в очереди по ту сторону шлюза, будто скатываются за эти ворота и уплывают под мост. Услышу: «Иван Жданов» — и увижу воду, шлюзы, мост. Или вижу: подмосковный снег глубокий, рождественский мороз и ты, Иван, в одной рубашке бежишь по нему. Это Салтыковка, дача, которую снимал Саша Чернов, поэт Александр Чернов. Мы праздновали его день рождения.

Скитальчество твое все продолжалось. Приедет Ваня, поночует сколько-то и уходит. Идет к двери поспешно, но неуверенно — куда, где, у какого огня сегодня застанет ночь нашего блудного

сына. Одежда — чаще всего поношенный свитер или давнишний пиджак — никогда не выглядели на нем убого, алтайский статный наш молодец!

Но шло время, застой сменился оживлением, вот уже и книжка у Ивана вышла, и пошли выступления на знаменитых площадках, пришла известность. Но, ты, Иван, не важничал. Ничего о себе такого не думал. Был Ванька и остался Ванька. Однажды позвонил и сообщил, что получил солидную премию. Денежную причём. Я спросила: что купил? Ответ успокоил. Иван крестьянский сын, простодушный и тароватый, оставался самим собой. Он купил много пар обуви. Потому что мало ли как дальше жизнь сложится.

Давно уже каждый из нас шел своим путем, у всех жизнь сложилась по-своему. Но Юность... Ничто так не соединяет, как она. Можно не видеться подолгу и лишь время от времени разговаривать по телефону, можно даже пропасть в суете житейской на несколько лет — что с того? Никто никого не забыл, общая завязь судеб, свет ее виноградный никакая тьма не укроет. Позвонила тебе недавно, а там — тот же голос и полное понимание с полуслова. И стихи. Как и голос в телефоне, я сразу узнаю их. Я всегда узнаю их. Что-то, может, меняется, но это он, поэт Иван Жданов.

Вот увидела сравнительно недавно написанное тобой, Иван, стихотворение «На смерть Николая Теодоровича Герцена». Шекспировской высоты стихотворение. Оно большое, я поставлю здесь отрывок, его достаточно, чтобы со мной согласиться.

...Ногами к лесу, к солнцу головой,
один в трёх лицах, натрое настроен,
для прошлого ты больше, чем ничто,
ты — будущий, ты — прошлый, преогромен.
Как троица пред взором Авраама,
ты сам с собой вступаешь в диалог,
и ближе, чем сейчас, себе не будешь,
и там, где для себя ты только он,
пребудет и твоё осуществленье.

Ты умер на пороге, будто кто-то
порог затеял выгнать за порог,
иль дверь пинками вытолкать за дверь,
иль вышвырнуть окно в окно, чтоб крыша
навек забыла, что она издревле
была лишь перевёрнутою лодкой
или подобьем вечного ковчега
для тварей, предназначенных на вывоз,
для буковок и божеских игрушек:
ты равных рвал, а ровных разрывал,
хлестал по обуху неутомимой плетью.

Однажды в разговоре о кризисе в творчестве ты мне сказал:
«Что значит “я больше не пишу”? Это равно “Я больше не дышу”».
Дыши, Иван. Не останавливайся. Не умолкай.